



Юрий КРУЖНОВ

Экран и сцена. — 1999 —
дек. (№ 51). — с. 14-15

Парадокс об актере Данилове

Сквозь низкое окно даниловской гримборной на втором этаже БДТ я смотрю, как хлещет дождь по израненной мостовой. Миша и еще двое актеров гримируются к вечернему спектаклю. Что-то меланхоличное, ленивое, усталое висит в воздухе.

— Зря тревожишься, — роняет Михаил. — Спектакль состоится при любой погоде.

Всегда бы вспомнить его таким — веселым, непосредственным, готовым к шутке.

Да, спектакль при любой погоде состоится. Я это знал.

Уже ослабленный болезнью, мучимый одышкой, он встречал меня дома словами:

— А не херсонский ли это помещик пожаловал?

А позже все тем же ослабшим голосом и с прерывающимся дыханием (из-за высокой температуры) демонстрировал мне, как невнимателен был Гоголь при описании природы в "Мертвых душах".

— Вот определи нарочно, какое время года описано во второй главе?

Миша, вернувшись из американской клиники с одной почкой и половиной легкого. Миша, кашляющий кровью, перед последним, срочным отъездом в Штаты. Он был бодр, остроумен, излучал даже какой-то задор. Но почему-то тяжело было видеть его, мужественного и бодрого, — ведь знал, что болезнь его съедает.

В октябре 1994 года пришла весть — в клинике Бостона в США умер артист Михаил Данилов. Умер мой друг.

Я часто вижу почти наяву, как он со мной, мальчишкой, идет на евпаторийский пляж. Детские впечатления самые цепкие. Мою кроху-сестричку он любил тогда таскать на плечах. И вот много-много лет спустя, я стою перед скромной могилой моего друга на Охтинском кладбище и, разумеется, не верю, что его нет. Он даже недожил до шестидесяти. Как верно сказал тогда Сергей Юрский: Миша, он не ушел; он просто умер.

Говорить о Мише, как будто он жив! Конечно, это трудно. Далеко не всегда удается быть отстраненным. Но надо попробовать.

Миша Данилов — пример того, как натура определяет все — жизненные взгляды, качество таланта, направление творчества. Он был удивительный и ни на кого не похожий актер. Но первая мысль — не об артисте Данилове, а о человеке Данилове, личности, какую не часто встретишь. Ибо природа хоть и щедра, но скупа.

Миша Данилов. Эти два слова были мерой вещей, вкуса, порядочности, высокой нравственности.

Это не я говорю, это чья-то холодная рука водит моею. Я только вспоминаю и вспоминаю. Без Миши мир не тот. Ведь полжизни, когда мы уже стали близкими друзьями, прошло у нас рядом.

Я все смотрю (мысленно) в окно гримборной БДТ.

— Что за погода. Вчера снег сыпал, сегодня дождь. Не зима и не осень. Как называть?

Голос Данилова:

— Демисезон.

Я слышу его голос, едва просыпаясь. Звонит телефон — и ждешь услышать знакомое:

— Бросай все к чертовой матери и приезжай немедленно.

— Какая-нибудь причина?

— Никакой.

— Еду.

Я стою на Охтинском кладбище, уверенный, что завтра он опять позвонит и скажет что-нибудь вроде:

— Приходи — я начал шить мешок для новой фотокамеры.

— Мне же на работу.

— Плевать.

— Кому как. У меня не та душевная организация, чтобы конфликтовать с дирекцией.

— Твоя душевная организация напоминает мне чем-то комсомольскую организацию нашего театра. Особенно по части конфликтов с

дирекцией.

Когда вышел телефильм Петра Фоменко "На всю оставшуюся жизнь", едва не каждый ленинградец знал даниловского доктора Супругова. Михаил вдруг стал популярен, и этот факт, помню, его жутко раздражал.

Вдруг он замирал, боясь оглянуться:

— Так, пошли быстро. На нас смотрят!

И мы спешно ретируемся из какого-нибудь гастронома, забыв про взвешенные и оплаченные двести граммов сыра.

Мишу известность застала врасплох. Он-то любил жизнь тихую, вольную, жизнь книгодея, шутника, философа и мастера. Хотя — кто его знает? Однако никогда не терпел, например, разные собрания и тусовки артистов. На театральные банкеты тоже никогда не ходил.

— Нет ни костюма, ни желания, — любил приговаривать.

И это все как-то не вязалось с его профессией артиста. Может быть, с отношениями к известности и начинается парадокс артиста Данилова.

— Какая разница, что главное! Все главное! Будут ли вспоминать такого артиста? Может, и вспомнят. А я бы хотел, чтобы просто помнили Данилова!

Это он в запальчивости говорил мне не раз.

Данилов — это мир, и в нем все — и дар артиста, и нежность к близким, и безупречный художественный вкус, и высокая культура, и незыблемость нравственных правил, и владение многими ремеслами.

Но — все это холодные слова. Все хочется говорить о Мише, как будто он не умирал; как будто он тут, рядом; не надо пафоса, не надо грусти.

У Михаила Викторовича Данилова было множество увлечений.

Не было у Михаила Викторовича увлечений. Просто он жил всем, что видел, знал, умел — вот и все. Да, он жил фотографией и был блестящим фотографом-художником; он знал трубное ремесло, великолепно делал трубки и был хорошо знаком с самым "стариком Федоровым", великим трубным мастером; он великолепно рисовал и потрясаяще знал мировую живопись; он любил заниматься кулинарией — и многим, многим еще. Он не мыслил жизни без Гоголя и Рембрандта, которых досконально изучил (потому что любил); не представлял свою жизнь без классической литературы и классического джаза, без астрономии и высшей математики. Потому что любил все это.

— А знаешь, — пожаловался он мне однажды, — странное ощущение преследует меня в последние годы. Вот узнал я, что такое успех и даже известность. Съездил в Европу. Видел Прагу, Вену, Гамбург. Недавно утвердили на новую роль в кино. Вроде все хорошо. А такое чувство, будто не знаешь, зачем родился. Все время чего-то недостает. И самое досадное — не знаешь, чего. Вот что бесит.

— Я думаю, потому что вещи, о которых ты говоришь, — они не главные.

— А что главное?

— Ну, этого никто не знает. Это — вечная тема.

— Тема, может, и вечная. Да жизнь не вечная.

По-моему, его многое мучило. Внутренней гармонии, видимо, не было. Я иногда замечал признаки внутреннего разлада. Не все это замечали. И слава богу. Он бы не потерпел. Он

был всегда обаятелен, остроумен, умен, весел и распространял свет душевной гармонии и таланта. Тянулся к нему.

Наверное, он должен был родиться менестрелем, трувером, трубадуром — кто знает? Он был в душе трувер. Актером он стал, я думаю, не по увлечению, но по глубокому зову природы. Он не мог не стать актером. Переходя на язык обобщений, скажу так: это было в нем, человеке соломониной серьезности, проявлением игровой стихии. Сколь мощен был фундамент одного, столь неизбежно бил фонтан другого. Соломон, кстати говоря, не чурался веселости.

В Михаиле под внешней респектабельностью, казалось, незаметно жил средневековый карнавальный "масочник", насмешник над всем и вся, над богом и королем. Не во имя насмешки, но во славу вот этой внутренней свободы. Средневековый эпатаж — это и есть бунт личности.

Так ли это было, не знаю, но в Михаиле действительно был "фонтан жизни". Конечно, это был своего рода бунт — бунт Михайловой личности против условностей и пошлости жизни. А Михаил очень остро чувствовал привкус последней. Выплески же жизненного фейерверка он умел удивительно точно дозировать. Только близкий человек мог понять его неожиданный какой-нибудь порыв, выверт, странное желание.

Бывало, во время репетиции вдруг тихонько открывалась дверь в радиоложу, где я сидел, и показывалось Михайлово лицо. Потом раздавался тихий шепот:

— Сразу после репетиции идем делать закупки.

— Что покупать?

— Понятия не имею. Я получил за картину на студии.

Потом мы бродим с ним час или два, просто так, и, от души наговорившись о звездах, Луи Армстронге и свойствах ливанского амаранта, заглянув в десяток магазинов, заканчиваем тем, что покупаем моток суровых ниток.

— Вот, рыженький (так он называл меня из-за моей рыжей бороды), это моя самая бесполезная покупка за последние две недели. Ты не представляешь, как это прекрасно, когда тебя не мучает чувство необходимости. Ты только почувствуй, как это прекрасно.

— Но ведь нитки могут пригодиться.

— У меня дома четыре мотка.

О том, как надо побеждать косность жизни, рутинность ее понятий, на примере Михаила можно написать целый роман.

Можно. Но я лично особенно ценю в нем его чувство внутренней независимости. И многие ценили в Михаиле это и уважали за это, и, я думаю, в тайне завидовали. В старом японском трактате я прочел: "достоинство — это внешнее проявление непоколебимого самоуважения". Вот и Михаил не терпел ничего сковывающего личность или фантазию, ничего, сковывающего ум, желания, натуру. Не терпел никаких запретов, никаких рамок.

Однако парадокс состоял в том, что Данилов как раз все время искал "рамки".

Слово неточно: он искал не рамки — искал устои. Его душа художника и артиста страдала в атмосфере ущербной культуры середины XX века. Его, человека, впитавшего все классическое в мире культуры, убивала повальная "демократизация" ее, ибо это влекло за собой уравни-

вание или же переоценку прежних эстетических критериев, по понятиям Михаила, святым и неприкасаемым. На его глазах шло убийство Эстетики. Этого он стерпеть не мог.

Он говорил мне:

— Понимаешь, когда любой может встать в переходе метро и запеть под гитару, это прекрасно. Но когда это становится эстетической нормой времени. Скажи, почему это становится эстетической нормой времени? Почему "Мама, мама, где моя панاما?" стало сегодня мерилом всего — искусства, образа жизни, морали даже?

Он говорил с грустью и с тихим возмущением; как отец возмущается неподобающим поведением дочери.

— Скажи, кто сейчас знает, кто такие Судейкин, Сомов? Я уж не говорю про Митрохина, Ватагина, Пахомова. Ушла не образованность, ушла потребность в красоте. И в образованности тоже. Раньше на стене в доме должен был висеть Добужинский, иначе у людей пропадал аппетит, они не ощущали уюта жизни. Ты-то меня понимаешь?

— Во все времена так — что было раньше, было прекрасно.

— Но, наконец, теперь это справедливо.

В самом деле — наши 70 — 80-е годы можно назвать временем размытия понятия "стиль". Михаил остро это почувствовал, раньше всех почувствовал — и интуитивно желал как-то удержать уходящее, уберечь, охранить. Он сразу заметил появление "кича" на Западе (еще в 50-е годы). "Кич" — это мечта об уходящем стиле. Стиль является как подделка, повторяется чужое, уже найденное раз, и из предмета или произведения уходит тепло, жизнь. Михаил это пугало и настораживало. Его тревожило исчезновение стиля как чего-то организующего, как ориентирующего момента культуры. "Кич" он сразу возненавидел. И всю свою жизнь Михаил был в поиске "стиля", того, что В.Розанов называл "поцелуем бога в вещь". Волюнтарист в душе, он вместе с тем ценил рамки Стиля и рамки Красоты. И вкуса, конечно, как явления стиля. (Он часто говорил: "вкус — это в искусстве все!") Стиль — это нечто конкретное, устойчивое, очерченное правилами и законами — то, чего, как считал Михаил, недостает современной культуре. Но тут уже эстетическое обуславливало этическое. А последнее было не менее важно для Михаила. В этом свете многое становится понятным и в облике артиста Данилова.

Все роли Данилова — это, по-моему, прежде всего точно найденные стилистические фигуры. Помню его блестяще сыгранного Трактирщика (концертная постановка С.Юрского "Избранник судьбы"), помню его управляющего у Саввы Морозова (спектакль "Третья стража"), не могу забыть его адвоката-эстета Шубинского ("Защитник Ульянов"). Это не только разные характеры — это еще маленькие шедевры стиля. Только я не имею в виду, что Миша был "стилистом". Ни в коем случае.

Вот одна из последних ролей Данилова — Отец в пьесе А.Володина "Киноповесть с одним антрактом". Короткая, неброская и уж вовсе не выигрышная. Роль сыграна с необыкновенной теплотой. Точно и тонко и чутко почувствована Михайлом судьба и психология "маленького человека" (что за неловкое определение критики!), то есть, человека скромной судьбы, зажатого ус-

ловностями, сдавленного страхом перед ней, но преодолевающего все благодаря доброте, широте и благородству своей души, часто неожиданному для него самого. Таков один из устоев стилистики драматурга А.Володина. И этой стилистикой Михаил проникся. Ибо это был и его стиль.

— Глу-упая. — любил приговаривать Миша, поглаживая кошку Мусю. — И это трогает.

Он любил все трогательное. Трогательность была для него определителем домашности, доброты, душевной мягкости. Он обожал музыку Вивальди. За трогательность. Еще больше он полюбил самого Вивальди, когда узнал, что тот обожал кошек. Кошек он сам любил до невозможности.

Может, оттого так мил, обаятелен и стилистически точен Михаил в любимой мною роли славного и добродушного начальника почты в телефильме В.Полякова "До востребования". Здесь роль также легла на натуру.

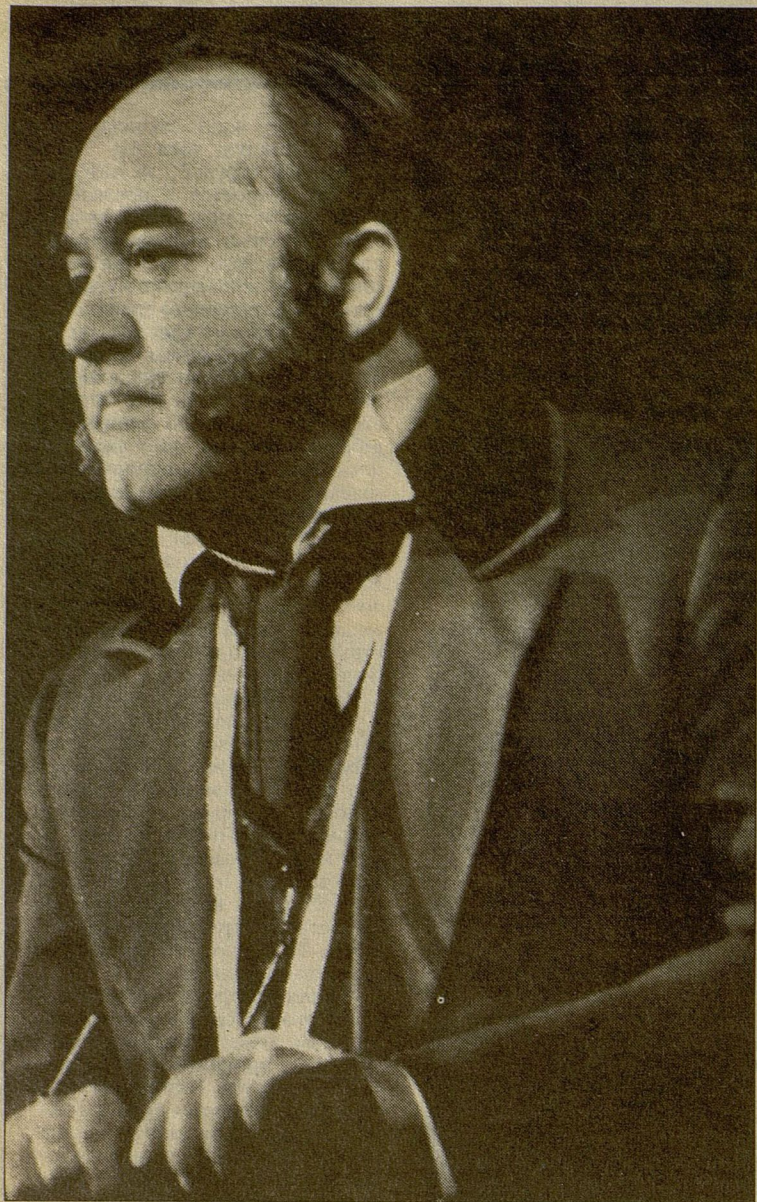
Но ведь был другой Михаил (его парадоксы): Михаил властный, Михаил деспотичный и непримиримый. Да, именно так.

Своеобразным определителем стилистики целого спектакля стали такие его (контрастные по стилистике володинской) роли, как Монтойя в "Фиесте" Э.Хемингуэя (Лен. ТВ), Лагранж в "Мольере" М.Булгакова (БДТ). В "Фиесте" — это немногословный, суровый провинциал, ценитель и знаток искусства боя быков, словно олицетворяющий собой экклезиастово немногословие: "и восходит солнце, и заходит солнце, а земля пребывает вовеки". В "Мольере" — это такой же суровый, но уже суровый в своем нравственном ригоризме друг и верный Цербер своего мэтра — актер труппы Мольера, Лагранж. В глубине души Лагранж истинно благородный человек, но недальновидный, упрямый и оттого иногда жестокий. Все рассчитано у него: и любовь, и долг. Холодный ум и верное сердце.

В чем-то это был, может, сам Михаил — но в определенном смысле, конечно. Любовь и долг в нем не боролись, но уживались и дополняли друг дружку. Все же натура и тут просвечивала в роли.

Мне все казалось, что однажды Лагранж-Данилов выйдет на авансцену, посмотрит задумчиво в зал и произнесет свое загадочное: "миром правит число". Произнесет как иррациональное определение сущности жизни, за которым скрывается нравственная теодицея (прав ли Творец?). Это была любимая мысль, любимая фраза Михаила. Он взял ее у Декарта, философа, которого обожал. И мысль эту он, некогда студент университетского физмата, понимал, конечно, через Декарта (а не Пифагора и пифагоровистов, утверждавших то же). Михаил часто ее повторял, эту фразу, ничего, однако, не объясняя, никак не продолжая. И еще одну декартову мысль он любил повторять — о том, как "полезно сомневаться во многих вещах". Это выражение он почему-то считал одним из высших достижений человеческого остроумия — остроумия в самом высоком смысле. Я плохо это понимал, но только в его устах это тоже напоминало экклезиастово "и восходит солнце." Ну а уж в остроумии он знал толк.

Мой нравственный "ригорист" и "эстет" любил подермать на диване под тихое урчание телевизора. У телевизора обычно сидела жена,



иногда я возле нее или кто-нибудь из гостей. Мы обычно тихо обсуждали то, что видели на экране, а Михаил, дремлющий на диване в углу, бросал редкие реплики, не давая нашему разговору уйти в серьезные сферы. Не любил он "серьезности".

— Я почему-то думала, что здесь играет Евстигнеев, — бормочет Лора. — А тут, смотрю, одни молодые. Показывают телевизионный спектакль, в котором занят и Михаил. Он, верно, тоже хотел бы посмотреть, да дрема одолевает.

— Ты видишь этого артиста? — оживает Лора. — Скажи, Миша, как его фамилия? Панкратов? Панферов?

— Может, Пантелеев? — подсказываю я.

— Нет, это не Пантелеев.

— От "пантелеева" и слышу, — доносится из угла.

— Миша, ну ты же его знаешь. Он играл у нас в университете, в самодеятельности. В художественной, разумеется.

И из угла:

— Как будто самодеятельность бывает нехудожественная.

— Между прочим, они играли именно эту пьесу! Я все хотела прочесть, а ее нигде не печатали. Рукописи, как видишь, не горят.

И снова из угла:

— Рукописи, Лорочка, не горят. Горят авторы.

Как человек, Михаил часто напоминал мне Лагранжа. Прежде всего, как я уже говорил, своим нравственным ригоризмом. Во имя нравственных установок и правил Михаил готов был на отчаянные поступки. Иногда жесткие. Он был непримирим, когда дело касалось морали. Он считал, что подлость — во все времена подлость. Что если ты плохой человек, то ты плохой художник. В вопросах морали он был совсем не диалектик. Его нравственную непримиримость близкие частенько чувствовали на себе — и даже в первую очередь на себе. Иногда с ним было тяжело. Парадоксы Данилова.

Хочется вспомнить и вспомнить бесконечные наши с ним разговоры. Они так неожиданны, они так значительны и незначительны, они так серьезны и несерьезны. За мелочами кроется жизнь. И как бы ни знали его, скажем, домашние,

жена или дочь, всегда найдется довольно такого, что замечали только друзья, а порой и вовсе незнакомые люди. Тут играет роль ракурс при взгляде.

— Вот ведь интересно, — говорил мне, например, Михаил, когда мы с ним, по обыкновению, не торопясь, шли вечером домой из театра. — Вот Ленинград — дочего красивый город. А ведь как мало в нем уюта. За исключением, разве, нескольких улиц — и заметь, самых неприглядных.

— Уют и гармония редко уживаются. А Ленинград исполнен гармонии.

— Да, это город "слаженный". В природе такой слаженности не бывает. Правду говорят, что чьей-то страшной волей создан Петербург. Природная гармония — она другая. Вернее, она в другом.

Мы медленно идем вдоль решетки Михайловского сада. Несмотря на сильный мороз, на иней на шапках, мы не прерываем беседы и не спешим в тепло. Затуманенная луна сопровождает нас. Кажется, мы втроем беседуем — Михаил, я и луна. Разговор то и дело перескакивает с одного на другое.

— Почему так измечало время? Почему все понятия о великом и прекрасном стали так мелки и так несерьезны? — досадовал Михаил, увлекаясь новым предметом. — Вот Микеланджело. Вот Рафаэль. Вот да Винчи. Гении. Но ведь и Миров — гений. И Шагал — гений. И Пикассо. Но какая пропасть между ними. Я думаю, что Бенуа во времена Тициана был бы просто посажен в тюрьму за дискредитацию понятия прекрасного. Но ведь Бенуа — изумительный художник! Смотри, что творится! А ты говоришь — раньше, раньше. Да, при Цезаре куры были дешевле. Наверное. Но ведь и ваятели были не те. По нашим временам — свертитаны!

А мороз прохватывает. Мы доходим почти до Пантелеймоновской церкви и, наконец, встаем на остановке автобуса. Ждем. Михаил запал "ритора" не угасает.

— Ну, а о ленинградском зрителе, таком тонком, таком чутком и таком тупом, я уж не говорю. Ты посмотри, как "на ура" приняли "Ревизора". А ведь это далеко не "историческое явление". Что, разве наш зритель не понимает этого? Идут

на знаменитых артистов? Не верю. В Пушкинском театре Меркурьев, Борисов, Симонов, Толубеев играли при полупустом зале! Я сам это наблюдал, я там работал. Нет, пойдешь достанешь билет на "Ревизора"! А ажиотаж вокруг артистов? Вспомни, на Руси к актерам относились как к шутам гороховым, скоморохам и вообще несерьезным людям. Дворянин не имел права играть на сцене. За актера стыдно было выдать замуж дочь. И сейчас носильщик на вокзале говорит мне: "Подумаешь, артист! Ножками подрыгает — а всегда колбаска на столе!" Так почему же девушки сходят с ума от Кирилла Лаврова, от Стрельчикова? Нет, они правы, но все-таки!

Да, он разбирался в искусстве театра, а тем более в актерском искусстве, разбирался как далеко не всякий критик. В нем пропал еще и талантливый режиссер. Я помню, он мне рассказывал, как бы он поставил чеховский рассказ "После службы". Помню его поразительный режиссерский расклад одной из пьес А.Островского, где все недостатки пьесы были видны, как на ладони.

Автобуса долго нет. Михаил ежится.

— Слушай, — говорю. — Идем пешком. Автобус, вот увидишь, придет через час.

— Ну нет. Дождемся. Я хочу посмотреть ему в глаза.

Данилов не зря сделался мастером крупного плана. Непроста его лучшие роли — это роли в телефильмах, где крупный план — главный прием. Правдивость и точность эмоции, скупой стиль игры — вот что делало Михаила блестящим мастером постановок на ТВ. И киноэкрана тоже. Ведь в крупном плане не только проявляется мастерство артиста — здесь нельзя сфальшивить, вот что. Оттого так великолепен был Михаил на Малой сцене БДТ, где зритель, сидящий в полутора метрах от рамп и замечая любое движение бровей артиста, выражение глаз, — не обманешь.

Михаил иногда в полемическом запале бросал:

— В искусстве все должно быть правильно!

Я робко возражал:

— Разве может в искусстве быть понятие "правильно" или "неправильно"? "Неправильное" нередко становится прекрасным. Анри Руссо не умел грамотно нарисовать руку или ногу — но разве он не художник?

Михаил замолкал, насупившись. И соглашался.

Я знал, откуда это шло. Он невольно смешивал эстетическое с этическим. Нравственные правила для него были важнее других. "Правильное" или "неправильное" — это есть категории нравственные, а не эстетические. Я думаю, он вполне мог сказать кому-нибудь (буде в этом была бы необходимость): поэтом можешь ты не быть, но гражданином (читай: порядочным человеком) быть обязан. Один из крылатых его экспромтов почти так и звучал:

"У него не было никаких иных достоинств, кроме чувства собственного достоинства."

Чувство собственного достоинства он ценил прежде всего.

Миша был в своем роде фигура знаковая, но — не для своего времени. Как истинно благородный человек и гордый своим благородством, как человек высоко нравственный и непримиримый в этом, — он был "несовременен". Он никогда не шел на компромиссы, он не терпел предательства, лжи и особенно фальши. Он был скорее человеком викторианской эпохи, а не середины XX века. Он был "старомоден" уже как любитель старых вещей. Старые вещи он любил потому, что они были сделаны всегда с любовью и вкусом. Он любил ходить со старинным баульчиком. Часы носил Павла Буре или Лонжина, которым было лет по восемьдесят и которые уже были не раз отреставрированы. Он любил собирать старые механизмы. Он обожал старые фотографии.

Его трогало, что я носил калоши. И если я исходил из практических соображений, то Михаил смотрел на это по-другому.

— Мы с тобой, рыженький, старомодные люди — по нынешним-то понятиям. Но скажи, что значит "старомодность"? Скажи, Рафаэль старомоден? А Венецианов? А Чехов?

По-моему, Михаил как раз был очень современным человеком. Ибо мало кто так чувствовал "текущий" момент, как он. Острота восприятия — одно из удивительных его свойств.

Особенно он, конечно, чтит человеческие авторитеты, правда, тоже по-своему. При нем нельзя было сказать плохого слова о Рембрандте, о Зоценко или Булгакове, об учителе его, Василии Васильевиче Меркурьеве, о его друге Сергее Юрском. Михаил мог стать твоим врагом на целый вечер. За этим почитанием была — любовь. Миша, этот порой жесткий, бескомпромиссный человек, был полон нежной любви. Правда, его властная натура привносила в это свое. Обоим помогать друзьям и близким, но почти насильно таскал меня и других своих друзей к врачам, доставал лекарства, устраивал в больницы. И хотя делалось это иногда деспотично, с окриком и упреками в неразумности, ему нельзя было не подчиниться. Ибо за этим были снова — душевное тепло, искренняя забота, желание помочь. Он, может, не один раз спас меня. С благодарностью я вспоминаю и его настойчивость и его дружеское "побранивание", его упреки. Он не давал раскиснуть. Если кому-то из друзей нужен был совет, то шли к нему. Иногда только он мог что-то посоветовать. Он был одарен и жизненной мудростью, и безошибочным нравственным чутьем. И он, конечно, никогда не ждал ничего в ответ. Впрочем, нет — ему нужно было такое же теплое отношение. Ему нужно было, чтобы восхищались его вещами и поделками, ему необходимы были одобрение и поддержка. Ему нужно было внимание друзей. И их общество.

Рано утром, еще не восьми, раздавался звонок:

— Ты три дня не звонишь, и я уже забыл твое лицо.

Наслаждением было наблюдать, как сходились два таких человека и друга, как Миша и Боря Стукалов, наш театальный фотограф, еще один Мастер экстракласса, также человек независимый, также обладающий острым — и весьма едким юмором. Михаил спешил похвастать перед ним каким-нибудь новым приобретением. Это были два больших дитяти.

Вот они доставали только что приобретенную в комиссионке старую фотокамеру, ставили на штатив и долго рассматривали сквозь матовое стекло изображение.

— Нет, ты посмотри, — чуть не лопался от восторга Михаил. — Какая четкость! И как все просто! Ведь все элементарно! Ведь ничего лишнего!

— На уровне печной задвижки! — кивал Боря. — А какой класс!

— И этой "старушке" — почти 70 лет! А возьми наш любой "автомат" — ведь он, зараза, через полгода ломается.

Боря нервно подергивал плечами.

— Я, Миша, знаю только один автомат, который никогда не ломается, — это автомат Калашникова.

Эта атмосфера "радости жизни" — самое цепкое, самое сильное, самое чудесное, что помнится всегда.

— Лорочка, сделай нам заварочки! — кричит Михаил в кухню. — Э, Боря, а закусь? Есть отменный рыбец. Хорошего прожара.

— Небось, подгорельняк?

— Обижась. Разве что чуть-чуть.

— Нет, от жареного у меня какая-то горечь во рту.

— Это горечь жизни.

Лора приносит из кухни чай, и Боря, отведав, довольно крикает.

— Может, скажешь еще, что и чай — "проливач"?

В доме у Миши был свой "сленг", когда слова приобретали какой-то неожиданный, "сверточный" смысл. У Даниловых редко говорили "пойти в магазин", но "делать закупки", кошка не кусается, а "делает покусыв".

— Представляешь, в Москве сразу три театра поставили "Чайку", —

сообщая я, отведывая чудесного чая.

— Это, наверное, ко дню птиц.

— Может быть. Но три вечера одних "Чаяк" — спасите наши души!

— Спасите наши души? — настаивается Боря. — Похоже на требование митингующих работников бань.

— А как тебе, Боренька, понравится объявление в ломбарде: "Здесь будет город заложен!" Сам видел.

Экспромты Михаила обладали тем загадочным свойством, что раскрепощали, рассеивали внимание, в их чаду чувствовал себя прихотливо, легко, расслабленно, беззаботно. Забывал про весь мир.

— А не желаете ли, Боренька, мясо по-тамышски?..

Как-то я принес Михаилу показать одну детскую книжку.

— По-моему, сильно отдает Чуковским. Как считаешь?

Михаил проглядел книжку и согласился:

— До Корней Чуковский.

Чувство "игрового" восприятия мира не покидало его даже в тяжелые минуты. Когда у него случился микроинсульт, и он, проснувшись утром, понял, что не может пошевелить рукой (а он тогда регулярно каждую неделю летал на съемки), то первое, что он пролепетал, обращаясь к спящей рядом жене:

— Лорочка, я, кажется, доездили.

А вместе с тем, он обладал острым и нередко мучающим его чувством ответственности — перед судьбой, перед людьми.

Я начал с его нелюбви к славе. Но нельзя путать эту "нелюбовь" (мое мнение) с чувством ответственности профессионала.

Однажды его пригласили во МХАТ сыграть в спектакле "Два анекдота" по А.Вампилову. Михаил блестяще играл Калошина в БДТовском спектакле на Малой сцене (где он, кстати, выступил еще и в качестве художника). "Гастроль" прошла с большим успехом. Михаил вернулся из Москвы просветленный, удовлетворенный. И потом рассказывал мне, с каким необычайно светлым, благодарным чувством вышел он после спектакля на улицы Москвы.

— Я вдруг впервые почувствовал, что не зря живу. Это не довольство славой — какая там слава? Ну, успех. Было странное чувство, что ты, наконец, имеешь право спокойно смотреть на дома вокруг, неторопливо прогуливаться по улицам и при этом не думать ни о чем. Будто выполнил какой-то маленький долг на земле. И умирать не страшно!

Позже (только вышел фильм "На всю оставшуюся жизнь") мы прогуливались с ним как-то по парку на Петроградской. Вдруг какой-то смущенный мужчина схватил Михаила за руку и стал жать ее, бормоча что-то с чувством. Потом вытащил клочок бумаги и стал просить Михаила написать ему несколько слов — "автограф для дочки". Михаил тихо вознегодовал, но все же нацарапал на листке пару слов и сухо вручил незнакомцу. Тот был расстроен. Мы двинулись дальше. И вдруг мой скептически настроенный друг молвил с каким-то незнакомым мне чувством:

— А знаешь, ведь ради такого стоит жить.

И он говорил не о славе.

У меня дома висит его акварель, где изображен уголок евпаторийской свободки. Я то и дело взглядываю на нее — и машинально жду опять, что вот раздастся звонок, и Мишин голос в трубку произнесет властно и мягко:

— Так, немедленно все бросай, бери такси — и чтобы был у меня еще до одиннадцати.

— Без пяти.

— Ты едешь?

— Причина есть?

— Причины нет.

— Еду.